Александр Иванович Куприн

В цирке

Александр Иванович Куприн

В цирке

Серия «О цирке», книга 4

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172053
А.И.Куприн Белый пудель. Рассказы.: Эксмо-Пресс; Москва; 2001
ISBN 5-04-088250-5

Аннотация

«Доктор Луховицын, считавшийся постоянным врачом при цирке, велел Арбузову раздеться. Несмотря на свой горб, а может быть именно вследствие этого недостатка, доктор питал к цирковым зрелищам острую и несколько смешную для человека его возраста любовь. Правда, к его медицинской помощи прибегали в цирке очень редко, потому что в этом мире лечат ушибы, выводят из обморочного состояния и вправляют вывихи своими собственными средствами, передающимися неизменно из поколения в поколение, вероятно, со времен Олимпийских игр…»

Содержание

I	4
II	13
III	28
IV	34
V	41

Александр Куприн
В цирке

I

Доктор Луховицын, считавшийся постоянным врачом при цирке, велел Арбузову раздеться. Несмотря на свой горб, а может быть именно вследствие этого недостатка, доктор питал к цирковым зрелищам острую и несколько смешную для человека его возраста любовь. Правда, к его медицинской помощи прибегали в цирке очень редко, потому что в этом мире лечат ушибы, выводят из обморочного состояния и вправляют вывихи своими собственными средствами, передающимися неизменно из поколения в поколение, вероятно, со времен Олимпийских игр. Это, однако, не мешало ему не пропускать ни одного вечернего представления, знать близко всех выдающихся наездников, акробатов и жонглеров и щеголять в разговорах словечками, выхваченными из лексикона цирковой арены и конюшни.

Но из всех людей, причастных цирку, атлеты и профессиональные борцы вызывали у доктора Луховицына особенное восхищение, достигавшее размеров настоящей страсти. Поэтому, когда Арбузов, освободившись от крахмаленной сорочки и сняв вязаную фуфайку, которую обязательно носят

все цирковые, остался голым до пояса, маленький доктор от удовольствия даже потер ладонь о ладонь, обходя атлета со всех сторон и любуясь его огромным, выхоленным, блестящим, бледно-розовым телом с резко выступающими буграми твердых, как дерево, мускулов.

– И черт же вас возьми, какая силища! – говорил он, тиская изо всех сил своими тонкими, цепкими пальцами попеременно то одно, то другое плечо Арбузова. – Это уж что-то даже не человеческое, а лошадиное, ей-богу. На вашем теле хоть сейчас лекцию по анатомии читай – и атласа никакого не нужно. Ну-ка, дружок, согните-ка руку в локте.

Атлет вздохнул и, сонно покосившись на свою левую руку, согнул ее, отчего выше сгиба под тонкой кожей, надувая и растягивая ее, вырос и прокатился к плечу большой и упругий шар, величиной с детскую голову. В то же время все обнаженное тело Арбузова от прикосновения холодных пальцев доктора вдруг покрылось мелкими и жесткими пупырышками.

– Да, батенька, уж подлинно наделил вас господь, – продолжал восторгаться доктор. – Видите эти вот шары? Они у нас в анатомии называются бицепсами, то есть двухглавыми. А это – так называемые супинаторы и пронаторы. Поверните кулак, как будто вы отворяете ключом замок. Так, так, прекрасно. Видите, как они ходят? А это – слышите, я нащупываю на плече? Это – дельтовидные мышцы. Они у вас точно полковничьи эполеты. Ах, и сильный же вы человечина! Что,

если вы кого-нибудь этак… нечаянно? А? Или, если с вами этак… в темном месте встретиться? А? Я думаю, не приведи бог! Хе-хе-хе! Ну-с, итак, значит, мы жалуемся на плохой сон и на легкую общую слабость?

Атлет все время улыбался застенчиво и снисходительно. Хотя он уже давно привык показываться полуобнаженным перед одетыми людьми, но в присутствии тщедушного доктора ему было неловко, почти стыдно, за свое большое, мускулистое, сильное тело.

– Боюсь, доктор, не простудился ли, – сказал он тонким, слабым и немного сиплым голосом, совсем не идущим к его массивной фигуре. – Главное дело – уборные у нас безобразные, везде дует. Во время номера, сами знаете, вспотеешь, а переодеваться приходится на сквозняке. Так и прохватывает.

– Голова не болит? Не кашляете?

– Нет, кашлять не кашляю, а голова, – Арбузов потер ладонью низко стриженный затылок, – голова, правда, что-то не в порядке. Не болит, а так… будто тяжесть какая-то… И вот еще сплю плохо. Особенно сначала. Знаете, засыпаю-засыпаю, и вдруг меня точно что-то подбросит на кровати; точно, понимаете, я чего-то испугался. Даже сердце заколотится от испуга. И этак раза три-четыре: все просыпаюсь. А утром голова и вообще… кисло как-то себя чувствую.

– Кровь носом не идет ли?

– Бывает иногда, доктор.

– Мн-да-с. Так-с… – значительно протянул Луховицын и, подняв брови, тотчас же опустил их. – Должно быть, много упражняетесь в последнее время? Устаете?

– Много, доктор. Ведь масленица теперь, так каждый день приходится с тяжестями работать. А иногда, с утренними представлениями, и по два раза в день. Да еще через день, кроме обыкновенного номера, приходится бороться… Конечно, устанешь немного…

– Так, так, так, – втягивая в себя воздух и тряся головой, поддакивал доктор. – А вот мы вас сейчас послушаем. Раздвиньте руки в стороны. Прекрасно. Дышите теперь. Спокойно, спокойно. Дышите… глубже… ровней…

Маленький доктор, едва доставая до груди Арбузова, приложил к ней стетоскоп и стал выслушивать. Испуганно глядя доктору в затылок, Арбузов шумно вдыхал воздух и выпускал его изо рта, сделав губы трубочкой, чтобы не дышать на ровный глянцевитый пробор докторских волос.

Выслушав и выстукав пациента, доктор присел на угол письменного стола, положив ногу на ногу и обхватив руками острые колени. Его птичье, выдавшееся вперед лицо, широкое в скулах и острое к подбородку, стало серьезным, почти строгим. Подумав с минуту, он заговорил, глядя мимо плеча Арбузова на шкап с книгами:

– Опасного, дружочек, я у вас ничего не нахожу, хотя эти перебои сердца и кровотечение из носа можно, пожалуй, считать деликатными предостережениями с того света.

Видите ли, у вас есть некоторая склонность к гипертрофии сердца. Гипертрофия сердца – это, как бы вам сказать, это такая болезнь, которой подвержены все люди, занимающиеся усиленной мускульной работой: кузнецы, матросы, гимнасты и так далее. Стенки сердца у них от постоянного и чрезмерного напряжения необыкновенно расширяются, и получается то, что в медицине называем «cor bovinum», то есть бычачье сердце. Такое сердце в один прекрасный день отказывается работать, с ним делается паралич, и тогда – баста, представление окончено. Вы не беспокойтесь, вам до этого неприятного момента очень далеко, но на всякий случай посоветую: не пить кофе, крепкого чаю, спиртных напитков и прочих возбуждающих вещей. Понимаете? – спросил Луховицын, слегка барабаня пальцами по столу и исподлобья взглядывая на Арбузова.

– Понимаю, доктор.

– И в остальном рекомендуется такое же воздержание. Вы, конечно, понимаете, про что я говорю?

Атлет, который в это время застегивал запонки у рубашки, покраснел и смущенно улыбнулся.

– Понимаю… но ведь вы знаете, доктор, что в нашей профессии и без того приходится быть умеренным. Да, по правде, и думать-то об этом некогда.

– И прекрасно, дружочек. Затем отдохните денек-другой, а то и больше, если можете. Вы сегодня, кажется, с Ребером боретесь? Постарайтесь отложить борьбу на другой раз.

Нельзя? Ну скажите, что нездоровится, и все тут. А я вам прямо запрещаю, слышите? Покажите-ка язык. Ну вот, и язык скверный. Ведь слабо себя чувствуете, дружочек? Э! Да говорите прямо. Я вас все равно никому не выдам, так какого же черта вы мнетесь! Попы и доктора за то и деньги берут, чтобы хранить чужие секреты. Ведь совсем плохо? Да?

Арбузов признался, что и в самом деле чувствует себя нехорошо. Временами находит слабость и точно лень какая-то, аппетита нет, по вечерам знобит. Вот если бы доктор прописал каких-нибудь капель?

– Нет, дружочек, как хотите, а бороться вам нельзя, – решительно сказал доктор, соскакивая со стола. – Я в этом деле, как вам известно, не новичок, и всем борцам, которых мне приходилось знать, я всегда говорил одно: перед состязанием соблюдайте четыре правила: первое – накануне нужно хорошо выспаться, второе – днем вкусно и питательно пообедать, но при этом – третье – выступать на борьбу с пустым желудком, и, наконец, четвертое – это уже психология – ни на минуту не терять уверенности в победе. Спрашивается, как же вы будете состязаться, если вы с утра обретаетесь в такой мехлюзии? Вы извините меня за нескромный вопрос… я ведь человек свой… у вас борьба не того?.. Не фиктивная? То есть заранее не условлено, кто кого и в какое состязание положит?

– О нет, доктор, что вы… Мы с Ребером уже давно гонялись по всей Европе друг за другом. Даже и залог настоящий,

а не для приманки. И он и я внесли по сто рублей в третьи руки.

– Все-таки я не вижу резона, почему нельзя отложить состязание на будущее время.

– Наоборот, доктор, очень важные резоны. Да вы посудите сами. У нас борьба состоит из трех состязаний. Положим, первое взял Ребер, второе – я, третье, значит, остается решающим. Но уж мы настолько хорошо узнали друг друга, что можно безошибочно сказать, за кем будет третья борьба, и тогда – если я не уверен в своих силах – что мне мешает заболеть или захромать и так далее и взять свои деньги обратно? Тогда выходит, для чего же Ребер боролся первые два раза? Для своего удовольствия? Вот на этот случай, доктор, мы и заключаем между собой условие, по которому тот, кто в день решительной борьбы окажется больным, считается все равно проигравшим, и деньги его пропадают.

– Да-с, это дело скверное, – сказал доктор и опять значительно поднял и опустил брови. – Ну что же, дружочек, черт с ними, с этими ста рублями?

– С двумястами, доктор, – поправил Арбузов, – по контракту с дирекцией я плачу неустойку в сто рублей, если откажусь в самый день представления, хотя бы по болезни, от работы.

– Ну, черт… ну, двести! – рассердился доктор. – Я бы на вашем месте все равно отказался… Черт с ними, пускай пропадают, свое здоровье дороже. Да наконец, дружочек, вы

и так рискуете потерять ваш залог, если будете больной бороться с таким опасным противником, как этот американец.

Арбузов самоуверенно мотнул головой, и его крупные губы сложились в презрительную усмешку.

– Э, пустяки, – уронил он пренебрежительно, – в Ребере всего шесть пудов весу, и он едва достает мне под подбородок. Увидите, что я его через три минуты положу на обе лопатки. Я бы его бросил и во второй борьбе, если бы он не прижал меня к барьеру. Собственно говоря, со стороны жюри было свинством засчитать такую подлую борьбу. Даже публика, и та протестовала.

Доктор улыбнулся чуть заметной лукавой улыбкой. Постоянно сталкиваясь с цирковой жизнью, он уже давно изучил эту непоколебимую и хвастливую самоуверенность всех профессиональных борцов, атлетов и боксеров и их наклонность сваливать свое поражение на какие-нибудь случайные причины. Отпуская Арбузова, он прописал ему бром, который велел принять за час до состязания, и, дружески похлопав атлета по широкой спине, пожелал ему победы.

II

Арбузов вышел на улицу. Был последний день масленой недели, которая в этом году пришлась поздно. Холода еще не сдали, но в воздухе уже слышался неопределенный, тонкий, радостно щекочущий грудь запах весны. По наезженному грязному снегу бесшумно неслись в противоположных направлениях две вереницы саней и карет, и окрики кучеров раздавались с особенно ясной и мягкой звучностью. На перекрестках продавали моченые яблоки в белых новых ушатах, халву, похожую цветом на уличный снег, и воздушные шары. Эти шары были видны издалека. Разноцветными блестящими гроздьями они подымались и плавали над головами прохожих, запрудивших черным кипящим потоком тротуары, и в их движениях – то стремительных, то ленивых – было что-то весеннее и детски радостное.

У доктора Арбузов чувствовал себя почти здоровым, но на свежем воздухе им опять овладели томительные ощущения болезни. Голова казалась большой, отяжелевшей и точно пустой, и каждый шаг отзывался в ней неприятным гулом. В пересохшем рту опять слышался вкус гари, в глазах была тупая боль, как будто кто-то надавливал на них снаружи пальцами, а когда Арбузов переводил глаза с предмета на предмет, то вместе с этим по снегу, по домам и по небу двигались два больших желтых пятна.

У перекрестка на круглом столбе Арбузову кинулась в глаза его собственная фамилия, напечатанная крупными буквами. Машинально он подошел к столбу. Среди пестрых афиш, объявлявших о праздничных развлечениях, под обычной красной цирковой афишей был приклеен отдельный зеленый аншлаг, и Арбузов равнодушно, точно во сне, прочитал его с начала до конца:

ЦИРК БР. ДЮВЕРНУА.

СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ 3-я РЕШИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА

ПО РИМСКО-ФРАНЦУЗСКИМ ПРАВИЛАМ

МЕЖДУ ИЗВЕСТНЫМ АМЕРИКАНСКИМ

ЧЕМПИОНОМ

г. ДЖОНОМ РЕБЕРОМ

и ЗНАМЕНИТЫМ РУССКИМ БОРЦОМ

и ГЕРКУЛЕСОМ г. АРБУЗОВЫМ

канным копотью лицам, слесарей, и один из них стал читать объявление о борьбе вслух, коверкая слова. Арбузов услышал свою фамилию, и она прозвучала для него бледным, оборванным, чуждым, потерявшим всякий смысл звуком, как это бывает иногда, если долго повторяешь подряд одно и то же слово. Мастеровые узнали атлета. Один из них толкнул товарища локтем и почтительно посторонился. Арбузов сердито отвернулся и, засунув руки в карманы пальто, пошел дальше.

В цирке уже отошло дневное представление. Так как свет проникал на арену только через стеклянное, заваленное снегом окно в куполе, то в полумраке цирк казался огромным, пустым и холодным сараем.

Войдя с улицы, Арбузов с трудом различал стулья первого ряда, бархат на барьерах и на канатах, отделяющих проходы, позолоту на боках лож и белые столбы с прибитыми к ним щитами, изображающими лошадиные морды, клоунские маски и какие-то вензеля. Амфитеатр и галерея тонули в темноте. Вверху, под куполом, подтянутые на блоках, холодно поблескивали сталью и никелем гимнастические машины: лестницы, кольца, турники и трапеции.

На арене, припав к полу, барахтались два человека. Арбузов долго всматривался в них, щуря глаза, пока не узнал своего противника, американского борца, который, как и всегда по утрам, тренировался в борьбе с одним из своих помощников, тоже американцем, Гарваном. На жаргоне професси-

ональных атлетов таких помощников называют «волками» или «собачками». Разъезжая по всем странам и городам вместе с знаменитым борцом, они помогают ему в ежедневной тренировке, заботятся об его гардеробе, если ему не сопутствует в поездке жена, растирают после обычной утренней ванны и холодного душа жесткими рукавицами его мускулы и вообще оказывают ему множество мелких услуг, относящихся непосредственно к его профессии. Так как в «волки» идут или молодые, неуверенные в себе атлеты, еще не овладевшие разными секретами и не выработавшие приемов, или старые, но посредственные борцы, то они редко одерживают победы в состязаниях на призы. Но перед матчем с серьезным борцом профессор непременно сначала выпустит на него своих «собачек», чтобы, следя за борьбой, уловить слабые стороны и привычные промахи своего будущего противника и оценить его преимущества, которых следует остерегаться. Ребер уже спускал на Арбузова одного из своих помощников – англичанина Симпсона, второстепенного борца, сырого и неповоротливого, но известного среди атлетов чудовищной силой грифа, то есть кистей и пальцев рук. Борьба велась без приза, по просьбе дирекции, и Арбузов два раза бросал англичанина, почти шутя, редкими, эффектными трюками, которые он не рискнул бы употребить в состязании с мало-мальски опасным борцом. Ребер уже тогда отметил про себя главные недостатки и преимущества Арбузова: тяжелый вес и большой рост при страшной мускульной си-

ле рук и ног, смелость и решительность в приемах, а также пластическую красоту движений, всегда подкупающую симпатии публики, но в то же время сравнительно слабые кисти рук и шею, короткое дыхание и чрезмерную горячность. И он тогда же решил, что с таким противником надо держаться системы обороны, обессиливая и разгорячая его до тех пор, пока он не выдохнется; избегать охватов спереди и сзади, от которых трудно будет защищаться, и главное – суметь выдержать первые натиски, в которых этот русский дикарь проявляет действительно чудовищную силу и энергию. Такой системы Ребер и держался в первых двух состязаниях, из которых одно осталось за Арбузовым, а другое за ним.

Привыкнув к полусвету, Арбузов явственно различил обоих атлетов. Они были в серых фуфайках, оставлявших руки голыми, в широких кожаных поясах и в панталонах, прихваченных у щиколоток ремнями. Ребер находился в одном из самых трудных и важных для борьбы положений, которое называется «мостом». Лежа на земле лицом вверх и касаясь ее затылком с одной стороны, а пятками – с другой, круто выгнув спину и поддерживая равновесие руками, которые глубоко ушли в тырсу[1], он изображал таким образом из своего тела живую упругую арку, между тем как Гарван, навалившись сверху на выпяченный живот и грудь профессора, напрягал все силы, чтобы выпрямить эту выгнувшуюся

---

[1] Смесь песка и деревянных опилков, которой посыпается арена. *(Прим. автора.)*

массу мускулов, опрокинуть ее, прижать к земле.

Каждый раз, когда Гарван делал новый толчок, оба борца с напряжением кряхтели и с усилием, огромными вздохами, переводили дыхание. Большие, тяжелые, со страшными, выпучившимися мускулами голых рук и точно застывшие на полу арены в причудливых позах, они напоминали при неверном полусвете, разлитом в пустом цирке, двух чудовищных крабов, оплетших друг друга клешнями.

Так как между атлетами существует своеобразная этика, в силу которой считается предосудительным глядеть на упражнения своего противника, то Арбузов, огибая барьер и делая вид, что не замечает борцов, прошел к выходу, ведущему в уборные. В то время, когда он отодвигал массивную красную занавесь, отделяющую манеж от коридоров, кто-то отодвинул ее с другой стороны, и Арбузов увидел перед собой, под блестящим сдвинутым набок цилиндром, черные усы и смеющиеся черные глаза своего большого приятеля, акробата Антонио Батисто.

– Buon giorno, mon cher monsieur Arbousoffff![2] – воскликнул нараспев акробат, сверкая белыми, прекрасными зубами и широко разводя руки, точно желая обнять Арбузова. – Я только чичас окончил мой repetition[3]. Allons donc prendre quelque chose. Пойдем что-нибудь себе немножко взять? Один рюмок коньяк? О-о, только не сломай мне руку.

---

[2] Добрый день, мой дорогой господин Арбузов *(ит., фр.)*.

[3] Репетицию *(фр.)*.

Пойдем на буфет.

Этого акробата любили в цирке все, начиная с директора и кончая конюхами. Артист он был исключительный и всесторонний: одинаково хорошо жонглировал, работал на трапеции и на турнике, подготовлял лошадей высшей школы, ставил пантомимы и, главное, был неистощим в изобретении новых «номеров», что особенно ценится в цирковом мире, где искусство, по самым своим свойствам, почти не двигается вперед, оставаясь и теперь чуть ли не в таком виде, в каком оно было при римских цезарях.

Все в нем нравилось Арбузову: веселый характер, щедрость, утонченная деликатность, выдающаяся даже в среде цирковых артистов, которые вне манежа – допускающего, по традиции, некоторую жестокость в обращении – отличаются обыкновенно джентльменской вежливостью. Несмотря на свою молодость, он успел объехать все большие города Европы и во всех труппах считался наиболее желательным и популярным товарищем. Он владел одинаково плохо всеми европейскими языками и в разговоре постоянно перемешивал их, коверкал слова, может быть, несколько умышленно, потому что в каждом акробате всегда сидит немного клоуна.

– Не знаете ли, где директор? – спросил Арбузов.

– Il est a l'ecurie. Он ходил на конюшен, смотрел один больной лошадь. Mais allons donc. Пойдем немножка. Я очень имею рад вас видеть. Мой голюбушка? – вдруг вопросительно сказал Антонио, смеясь сам над своим произношением и

продевая руку под локоть Арбузова. – Карашо, будьте здоровы, самовар, извочик, – скороговоркой добавил он, видя, что атлет улыбнулся.

У буфета они выпили по рюмке коньяку и пожевали кусочки лимона, обмокнутого в сахар. Арбузов почувствовал, что после вина у него в животе стало сначала холодно, а потом тепло и приятно. Но тотчас же у него закружилась голова, а по всему телу разлилась какая-то сонная слабость.

– Oh, sans doute[4], вы будете иметь une victoire, одна победа, – говорил Антонио, быстро вертя между пальцев левой рукой палку и блестя из-под черных усов белыми, ровными, крупными зубами. – Вы такой brave homme[5], такой прекрасный и сильный борец. Я знал один замечательный борец – он назывался Карл Абс… да, Карл Абс. И он теперь уже ist gestorben… он есть умер. О, хотя он был немец, но он был великий профессор! И он однажды сказал: французский борьба есть одна пустячок. И хороший борец, ein guter Kdmpfer, должен иметь очень, очень мало: всего только сильный шея, как у один буйвол, весьма крепкий спина, как у носильщик, длинная рука с твердым мускул und ein gewaltiger Griff… Как это называется по-русску? (Антонио несколько раз сжал и разжал перед своим лицом пальцы правой руки.) О! Очень сильный пальцы. Et puis[6], тоже необходимо иметь

---

[4] О, без сомнения *(фр.)*.

[5] Смелый человек *(фр.)*.

[6] И затем *(фр.)*.

устойчивый нога, как у один монумент, и, конечно, самый большой… как это?.. самый большой тяжесть в корпус. Если еще взять здоровый сердца, les poumons… как это по-русску?.. легкие, точно у лошадь, потом еще немножко кладнокровие и немножко смелость, и еще немножко savoir les rigles de la lutte, знать все правила борьба, то консе консов вот и все пустячки, которые нужен для один хороший борец! Ха-ха-ха!

Засмеявшись своей шутке, Антонио нежно схватил Арбузова поверх пальто под мышками, точно хотел его пощекотать, и тотчас же лицо его сделалось серьезным. В этом красивом, загорелом и подвижном лице была одна удивительная особенность: переставая смеяться, оно принимало суровый и сумрачный, почти трагический характер, и эта смена выражений наступала так быстро и так неожиданно, что казалось, будто у Антонио два лица – одно смеющееся, другое серьезное, и что он непонятным образом заменяет одно другим, по своему желанию.

– Конечно, Ребер есть опасный соперник… У них в Америке борются comme les bouchers, как мьясники. Я видел борьба в Чикаго и в Нью-Йорке… Пфуй, какая гадость!

Со своими быстрыми итальянскими жестами, поясняющими речь, Антонио стал подробно и занимательно рассказывать об американских борцах. У них считаются дозволенными все те жестокие и опасные трюки, которые безусловно запрещено употреблять на европейских аренах. Там бор-

цы давят друг друга за горло, зажимают противнику рот и нос, охватывая его голову страшным приемом, называемым железным ошейником – collier de fer, лишают его сознания искусным нажатием на сонные артерии. Там передаются от учителей к ученикам, составляя непроницаемую профессиональную тайну, ужасные секретные приемы, действие которых не всегда бывает ясно даже для врачей. Обладая знанием таких приемов, можно, например, легким и как будто нечаянным ударом по triceps'у[7] вызвать минутный паралич в руке у противника или не заметным ни для кого движением причинить ему такую нестерпимую боль, которая заставит его забыть о всякой осторожности. Тот же Ребер привлекался недавно к суду за то, что в Лодзи, во время состязания с известным польским атлетом Владиславским, он, захватив его руку через свое плечо приемом tour de bras, стал ее выгибать, несмотря на протесты публики и самого Владиславского, в сторону, противоположную естественному сгибу, и выгибал до тех пор, пока не разорвал ему сухожилий, связывающих плечо с предплечьем. У американцев нет никакого артистического самолюбия, и они борются, имея в виду один денежный приз. Заветная цель американского атлета – скопить свои пятьдесят тысяч долларов, тотчас же после этого разжиреть, опуститься и открыть где-нибудь в Сан-Франциско кабачок, в котором потихоньку от полиции процветают травля крыс и самые жестокие виды американского бокса.

---

[7] Трицепс, трехглавая мышца плеча *(лат.)*.

Все это, не исключая лодзинского скандала, было давно известно Арбузову, и его больше занимало не то, что рассказывал Антонио, а свои собственные, странные и болезненные ощущения, к которым он с удивлением прислушивался. Иногда ему казалось, что лицо Антонио придвигается совсем вплотную к его лицу и каждое слово звучит так громко и резко, что даже отдается смутным гулом в его голове, но минуту спустя Антонио начинал отодвигаться, уходил все дальше и дальше, пока его лицо не становилось мутным и до смешного маленьким, и тогда его голос раздавался тихо и сдавленно, как будто бы он говорил с Арбузовым по телефону или через несколько комнат. И всего удивительнее было то, что перемена этих впечатлений зависела от самого Арбузова и происходила от того, поддавался ли он приятной, ленивой и дремотной истоме, овладевшей им, или стряхивал ее с себя усилием воли.

– О, я не сомневаюсь, что вы будете его бросать, mon cher Arbousoff, мой дюшенька, мой голюпшик, – говорил Антонио, смеясь и коверкая русские ласкательные имена. – Робер c'est un animal, un accapareur[8]. Он есть ремесленник, как бывает один водовоз, один сапожник, один… un tailleur[9], который шить панталон. Он не имеет себе вот тут… dans le coeur[10]… ничего, никакой чувство и никакой temperament[11].

---

[8] Это скотина, спекулянт *(фр.)*.

[9] Портной *(фр.)*.

[10] В сердце *(фр.)*.

Он есть один большой грубый мьясник, а вы есть настоящий артист. Вы есть кудожник, и я всегда имею удовольствие на вас смотреть.

В буфет быстро вошел директор, маленький, толстый и тонконогий человек, с поднятыми вверх плечами, без шеи, в цилиндре и распахнутой шубе, очень похожий своим круглым бульдожьим лицом, толстыми усами и жестким выражением бровей и глаз на портрет Бисмарка. Антонио и Арбузов слегка прикоснулись к шляпам. Директор ответил тем же и тотчас же, точно он долго воздерживался и ждал только случая, принялся ругать рассердившего его конюха.

– Мужик, русская каналья… напоил потную лошадь, черт его побирай!.. Я буду ходить на мировой судья, и он будет мне присудить триста рублей штраф с этого мерзавца. Я… черт его побирай!.. Я пойду и буду ему разбивать морду, я его буду стегать с моим Reitpeitsch![12]

Точно ухватившись за эту мысль, он быстро повернулся и, семеня тонкими, слабыми ногами, побежал в конюшню. Арбузов нагнал его у дверей.

– Господин директор…

Директор круто остановился и с тем же недовольным лицом выжидательно засунул руки в карманы шубы.

Арбузов стал просить его отложить сегодняшнюю борьбу на день или на два. Если директору угодно, он, Арбузов, даст

---

[11] Темперамент *(фр.)*.

[12] Кнутом *(нем.)*.

за это вне заключенных условий два или даже три вечерних упражнения с гирями. Вместе с тем не возьмет ли на себя господин директор труд переговорить с Ребером относительно перемены дня состязания.

Директор слушал атлета, повернувшись к нему вполоборота и глядя мимо его головы в окно. Убедившись, что Арбузов кончил, он перевел на него свои жесткие глаза, с нависшими под ними землистыми мешками, и отрезал коротко и внушительно:

– Сто рублей неустойки.

– Господин директор…

– Я, черт побирай, сам знаю, что я есть господин директор, – перебил он, закипая. – Устраивайтесь с Ребером сами, это не мое дело. Мое дело – контракт, ваше дело – неустойка.

Он резко повернулся спиной к Арбузову и пошел, часто перебирая приседающими ногами, к дверям, но перед ними вдруг остановился, обернулся и внезапно, затрясшись от злости, с прыгающими дряблыми щеками, с побагровевшим лицом, раздувшейся шеей и выкатившимися глазами, закричал, задыхаясь:

– Черт побирай! У меня подыхает Фатиница, первая лошадь парфорсной езды!.. Русский конюх, сволочь, свинья, русская обезьяна опоил самую лучшую лошадь, а вы позволяете просить разные глупости. Черт побирай! Сегодня последний день этой идиотской русской масленицы, и у меня не хватает даже приставной стулья, и публикум будет мне де-

лать ein grosser Scandal[13], если я отменю борьбу. Черт побирай! У меня потребуют назад деньги и разломать мой цирк на маленькие кусочки! Schwamm drьber[14]! Я не хочу слушать глупости, я ничего не слышал и ничего не знаю!

И он выскочил из буфета, захлопнув за собой тяжелую дверь с такой силой, что рюмки на стойке отозвались тонким, дребезжащим звоном.

[13] Большой скандал *(нем.)*.

[14] Пропади он пропадом! *(нем.)*

III

Простившись с Антонио, Арбузов пошел домой. Надо было до борьбы пообедать и постараться выспаться, чтобы хоть немного освежить голову. Но опять, выйдя на улицу, он почувствовал себя больным. Уличный шум и суета происходили где-то далеко-далеко от него и казались ему такими посторонними, ненастоящими, точно он рассматривал пеструю движущуюся картину. Переходя через улицы, он испытывал острую боязнь, что на него налетят сзади лошади и собьют с ног.

Он жил недалеко от цирка в меблированных комнатах. Еще на лестнице он услышал запах, который всегда стоял в коридорах, – запах кухни, керосинового чада и мышей. Пробираясь ощупью темным коридором в свой номер, Арбузов все ждал, что вот-вот наткнется впотьмах на какое-нибудь препятствие, и к этому чувству напряженного ожидания невольно и мучительно примешивалось чувство тоски, потерянности, страха и сознания своего одиночества.

Есть ему не хотелось, но когда снизу, из столовой «Эврика», принесли обед, он принудил себя съесть несколько ложек красного борща, отдававшего грязной кухонной тряпкой, и половину бледной волокнистой котлеты с морковным соусом. После обеда ему захотелось пить. Он послал мальчишку за квасом и лег на кровать.

И тотчас ему показалось, что кровать тихо заколыхалась и поплыла под ним, точно лодка, а стены и потолок медленно поползли в противоположную сторону. Но в этом ощущении не было ничего страшного или неприятного; наоборот, вместе с ним в тело вступала все сильнее усталая, ленивая, теплая истома. Закоптелый потолок, изборожденный, точно жилами, тонкими извилистыми трещинами, то уходил далеко вверх, то надвигался совсем близко, и в его колебаниях была расслабляющая дремотная плавность.

Где-то за стеной гремели чашками, по коридору беспрерывно сновали торопливые, заглушаемые половиком шаги, в окно широко и неясно несся уличный гул. Все эти звуки долго цеплялись, перегоняли друг друга, спутывались и вдруг, слившись в несколько мгновений, выстраивались в чудесную мелодию, такую полную, неожиданную и красивую, что от нее становилось щекотно в груди и хотелось смеяться.

Приподнявшись на кровати, чтобы напиться, атлет оглядел свою комнату. В густом лиловом сумраке зимнего вечера вся мебель представилась ему совсем не такой, какой он ее привык до сих пор видеть: на ней лежало странное, загадочное, живое выражение. И низенький, приземистый, серьезный комод, и высокий узкий шкап, с его деловитой, но черствой и насмешливой наружностью, и добродушный круглый стол, и нарядное, кокетливое зеркало – все они сквозь ленивую и томную дремоту зорко, выжидательно и угрожающе стерегли Арбузова.

«Значит, у меня лихорадка», – подумал Арбузов и повторил вслух:

У меня лихорадка, – и его голос отозвался в его ушах откуда-то издалека слабым, пустым и равнодушным звуком.

Под колыхание кровати, с приятной сонной резью в глазах, Арбузов забылся в прерывистом, тревожном, лихорадочным бреде. Но в бреду, как и наяву, он испытывал такую же чередующуюся смену впечатлений. То ему казалось, что он ворочает со страшными усилиями и громоздит одна на другую гранитные глыбы с отполированными боками, гладкими и твердыми на ощупь, но в то же время мягко, как вата, поддающимися под его руками. Потом эти глыбы рушились и катились вниз, а вместо них оставалось что-то ровное, зыбкое, зловеще спокойное: имени ему не было, но оно одинаково походило и на гладкую поверхность озера, и на тонкую проволоку, которая, бесконечно вытягиваясь, жужжит однообразно, утомительно и сонно. Но исчезала проволока, и опять Арбузов воздвигал громадные глыбы, и опять они рушились с громом, и опять оставалась во всем мире одна только зловещая, тоскливая проволока. В то же время Арбузов не переставал видеть потолок с трещинами и слышать странно переплетающиеся звуки, но все это принадлежало к чужому, стерегущему, враждебному миру, жалкому и неинтересному по сравнению с теми грезами, в которых он жил.

Было уже совсем темно, когда Арбузов вдруг вскочил и сел на кровати, охваченный чувством дикого ужаса и нестер-

пимой физической тоски, которая начиналась от сердца, переставшего биться, наполняла всю грудь, подымалась до горла и сжимала его. Легким не хватало воздуху, что-то изнутри мешало ему войти. Арбузов судорожно раскрывал рот, стараясь вздохнуть, но не умел, не мог этого сделать и задыхался. Эти страшные ощущения продолжались всего три-четыре секунды, но атлету казалось, что припадок начался много лет тому назад и что он успел состариться за это время. «Смерть идет!» – мелькнуло у него в голове, но в тот же момент чья-то невидимая рука тронула остановившееся сердце, как трогают остановившийся маятник, и оно, сделав бешеный толчок, готовый разбить грудь, забилось пугливо, жадно и бестолково. Вместе с тем жаркие волны крови бросились Арбузову в лицо, в руки и в ноги и покрыли все его тело испариной.

В отворенную дверь просунулась большая стриженая голова с тонкими, оттопыренными, как крылья у летучей мыши, ушами. Это пришел Гришутка, мальчишка, помощник коридорного, справиться о чае. Из-за его спины весело и ободряюще скользнул в номер свет от лампы, зажженной в коридоре.

– Прикажете самоварчик, Никит Ионыч?

Арбузов хорошо слышал эти слова, и они ясно отпечатлелись в его памяти, но он никак не мог заставить себя понять, что они значат. Мысль его в это время усиленно работала, стараясь уловить какое-то необыкновенное, редкое и очень

важное слово, которое он слышал во сне перед тем, как вскочить в припадке.

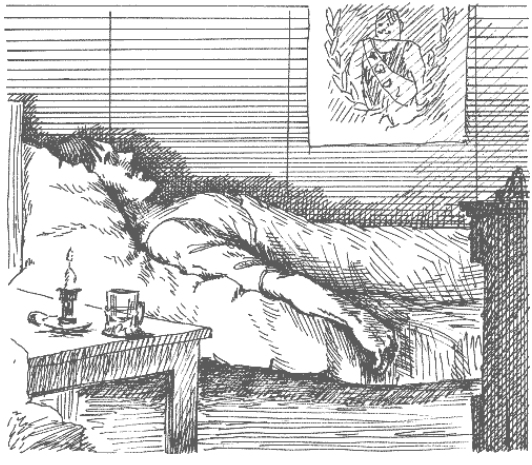
– Никит Ионыч, подавать, что ли, самовар-то? Седьмой час.

– Постой, Гришутка, постой, сейчас, – отозвался Арбузов, по-прежнему слыша и не понимая мальчишки, и вдруг поймал забытое слово: «Бумеранг». Бумеранг – это такая изогнутая, смешная деревяшка, которую в цирке на Монмартре бросали какие-то черные дикари, маленькие, голые, ловкие и мускулистые человечки. И тотчас же, точно освободившись от пут, внимание Арбузова перенеслось на слова мальчишки, все еще звучавшие в памяти.

– Седьмой час, ты говоришь? Ну так неси скорее самовар, Гриша.

Мальчик ушел. Арбузов долго сидел на кровати, спустив на пол ноги, и прислушивался, глядя в темные углы, к своему сердцу, все еще бившемуся тревожно и суетливо. А губы его тихо шевелились, повторяя раздельно все одно и то же, поразившее его, звучное, упругое слово:

– Бу-ме-ранг!



IV

К девяти часам Арбузов пошел в цирк. Большеголовый мальчишка из номеров, страстный поклонник циркового искусства, нес за ним соломенный сак с костюмом. У ярко освещенного подъезда было шумно и весело. Непрерывно, один за другим, подъезжали извозчики и по мановению руки величественного, как статуя, городового, описав полукруг, отъезжали дальше, в темноту, где длинной вереницей стояли вдоль улицы сани и кареты. Красные цирковые афиши и зеленые анонсы о борьбе виднелись повсюду – по обеим сторонам входа, около касс, в вестибюле и коридорах, и везде Арбузов видел свою фамилию, напечатанную громадным шрифтом. В коридорах пахло конюшней, газом, тырсой, которой посыпают арену, и обыкновенным запахом зрительных зал – смешанным запахом новых лайковых перчаток и пудры. Эти запахи, всегда немного волновавшие и возбуждавшие Арбузова в вечера перед борьбою, теперь болезненно и неприятно скользнули по его нервам.

За кулисами, около того прохода, из которого выходят на арену артисты, висело за проволочной сеткой освещенное газовым рожком рукописное расписание вечера с печатными заголовками: «Arbeit. Pferd. Klown»[15]. Арбузов загля-

---

[15] Работа. Лошадь. Клоун *(нем.)*.

нул в него с неясной и наивной надеждой не найти своего имени. Но во втором отделении против знакомого ему слова «Kampf»[16] стояли написанные крупным, катящимся вниз почерком полуграмотного человека две фамилии: Arbousow и Roeber.

На арене кричали картавыми деревянными голосами и хохотали идиотским смехом клоуны. Антонио Батисто и его жена, Генриетта, дожидались в проходе окончания номера. На обоих были одинаковые костюмы из нежно-фиолетового, расшитого золотыми блестками трико, отливавшего на сгибах против света шелковым глянцем, и белые атласные туфли.

Юбки на Генриетте не было, вместо нее вокруг пояса висела длинная и частая золотая бахрома, сверкавшая при каждом ее движении. Атласная рубашечка фиолетового цвета, надетая прямо поверх тела, без корсета, была свободна и совсем не стесняла движений гибкого торса. Поверх трико на Генриетте был наброшен длинный белый арабский бурнус, мягко оттенявший ее хорошенькую, черноволосую, смуглую головку.

– Et bien, monsieur Arbousoff?[17] – сказала Генриетта, ласково улыбаясь и протягивая из-под бурнуса обнаженную, тонкую, но сильную и красивую руку. – Как вам нравятся наши новые костюмы? Это идея моего Антонио. Вы придете на

---

[16] Борьба *(нем.)*.

[17] Ну как, господин Арбузов? *(фр.)*

манеж смотреть наш номер? Пожалуйста, приходите. У вас хороший глаз, и вы мне приносите удачу.

Подошедший Антонио дружелюбно похлопал Арбузова по плечу.

– Ну как дела, мой голюбушка? All right![18] Я держу за вас пари с Винченцо на одна бутылка коньяк. Смотрите же!

По цирку прокатился смех, и затрещали аплодисменты. Два клоуна с белыми лицами, вымазанными черной и малиновой краской, выбежали с арены в коридор. Они точно позабыли на своих лицах широкие, бессмысленные улыбки, но их груди после утомительных сальто-мортале дышали глубоко и быстро. Их вызвали и заставили еще что-то сделать, потом еще раз и еще, и только когда музыка заиграла вальс и публика утихла, они ушли в уборную, оба потные, как-то сразу опустившиеся, разбитые усталостью.

Не занятые в этот вечер артисты, во фраках и в панталонах с золотыми лампасами, быстро и ловко опустили с потолка большую сетку, протянув ее веревками к столбам. Потом они выстроились по обе стороны прохода, и кто-то отдернул занавес. Ласково и кокетливо сверкнув глазами из-под тонких смелых бровей, Генриетта сбросила свой бурнус на руку Арбузову, быстрым женским привычным движением поправила волосы и, взявшись с мужем за руки, грациозно выбежала на арену. Следом за ними, передав бурнус конюху, вышел и Арбузов.

---

[18] Прекрасно! *(англ.)*

В труппе все любили смотреть на их работу. В ней, кроме красоты и легкости движений, изумляло цирковых артистов доведенное до невероятной точности *чувство темпа* – особенное, шестое чувство, вряд ли понятное где-нибудь, кроме балета и цирка, но необходимое при всех трудных и согласованных движениях под музыку. Не теряя даром ни одной секунды и соразмеряя каждое движение с плавными звуками вальса, Антонио и Генриетта проворно поднялись под купол, на высоту верхних рядов галереи. С разных концов цирка они посылали публике воздушные поцелуи: он, сидя на трапеции, она, стоя на легком табурете, обитом таким же фиолетовым атласом, какой был на ее рубашке, с золотой бахромой на краях и с инициалами А и В посредине.

Все, что они делали, было одновременно, согласно и, повидимому, так легко и просто, что даже у цирковых артистов, глядевших на них, исчезало представление о трудности этих упражнений. Опрокинувшись всем телом назад, точно падая в сетку, Антонио вдруг повисал вниз головой и, уцепившись ногами за стальную палку, начинал раскачиваться взад и вперед. Генриетта, стоя на своем фиолетовом возвышении и держась вытянутыми руками за трапецию, напряженно и выжидательно следила за каждым движением мужа и вдруг, поймав темп, отталкивалась от табурета ногами и летела навстречу мужу, выгибаясь всем телом и вытягивая назад стройные ноги. Ее трапеция была вдвое длиннее и делала вдвое большие размахи: поэтому их движения то шли

параллельно, то сходились, то расходились…

И вот, по какому-то не заметному ни для кого сигналу, она бросала палку своей трапеции, падала ничем не поддерживаемая вниз и вдруг, скользнув руками вдоль рук Антонио, крепко сплеталась с ним кисть за кисть. Несколько секунд их тела, связавшись в одно гибкое, сильное тело, плавно и широко качались в воздухе, и атласные туфельки Генриетты чертили по поднятому вверх краю сетки; затем он переворачивал ее и опять бросал в пространство, как раз в тот момент, когда над ее головою пролетала брошенная ею и все еще качающаяся трапеция, за которую она быстро хваталась, чтобы одним размахом вновь перенестись на другой конец цирка, на свой фиолетовый табурет.

Последним упражнением в их номере был полет с высоты. Шталмейстеры подтянули трапецию на блоках под самый купол цирка вместе с сидящей на ней Генриеттой. Там, на семисаженной высоте, артистка осторожно перешла на неподвижный турник, почти касаясь головой стекол слухового окна. Арбузов смотрел на нее, с усилием поднимая вверх голову, и думал, что, должно быть, Антонио кажется ей теперь сверху совсем маленьким, и у него от этой мысли закружилась голова.

Убедившись, что жена прочно утвердилась на турнике, Антонио опять свесился головой вниз и стал раскачиваться. Музыка, игравшая до сих пор меланхолический вальс, вдруг резко оборвала его и замолкла. Слышалось только од-

нотонное, жалобное шипение углей в электрических фонарях. Жуткое напряжение чувствовалось в тишине, которая наступила вдруг среди тысячной толпы, жадно и боязливо следившей за каждым движением артистов…

– Pronto![19] – резко, уверенно и весело крикнул Антонио и бросил вниз, в сетку, белый платок, которым он до сих пор, не переставая качаться взад и вперед, вытирал руки. Арбузов увидел, как при этом восклицании Генриетта, стоявшая под куполом и державшаяся обеими руками за проволоки, нервно, быстро и выжидательно подалась всем телом вперед.

– Attenti![20] – опять крикнул Антонио.

Угли в фонарях тянули все ту же жалобную однообразную ноту, а молчание в цирке становилось тягостным и грозным.

– Allez![21] – раздался отрывисто и властно голос Антонио.

Казалось, этот повелительный крик столкнул Генриетту с турника. Арбузов увидел, как в воздухе, падая стремглав вниз и крутясь, пронеслось что-то большое фиолетовое, сверкающее золотыми искрами. С похолодевшим сердцем и с чувством внезапной раздражающей слабости в ногах атлет закрыл глаза и открыл их только тогда, когда, вслед за радостным, высоким, гортанным криком Генриетты, весь цирк вздохнул шумно и глубоко, как великан, сбросивший со спины тяжкий груз. Музыка заиграла бешеный галоп, и, раска-

---

[19] Быстро! *(ит.)*

[20] Внимание! *(ит.)*

[21] Вперед! (фр.)

чиваясь под него в руках Антонио, Генриетта весело перебирала ногами и била ими одна о другую. Брошенная мужем в сетку, она провалилась в нее глубоко и мягко, но тотчас же, упруго подброшенная обратно, стала на ноги и, балансируя на трясущейся сетке, вся сияющая неподдельной, радостной улыбкой, раскрасневшаяся, прелестная, кланялась кричащим зрителям… Накидывая на нее за кулисами бурнус, Арбузов заметил, как часто подымалась и опускалась ее грудь и как напряженно бились у нее на висках голубые жилки…

V

Звонок прозвонил антракт, и Арбузов пошел в свою уборную одеваться. В соседней уборной одевался Ребер. Арбузову сквозь широкие щели наскоро сколоченной перегородки было видно каждое его движение. Одеваясь, американец то напевал фальшивым баском какой-то мотив, то принимался насвистывать и изредка обменивался со своим тренером короткими, отрывистыми словами, раздававшимися так странно и глухо, как будто бы они выходили из самой глубины его желудка. Арбузов не знал английского языка, но каждый раз, когда Ребер смеялся или когда интонация его слов становилась сердитой, ему казалось, что речь идет о нем и о его сегодняшнем состязании, от звуков этого уверенного, квакающего голоса им все сильнее овладевало чувство страха и физической слабости.

Сняв верхнее платье, он почувствовал холод и вдруг задрожал крупной дрожью лихорадочного озноба, от которого затряслись его ноги, живот и плечи, а челюсти громко застукали одна о другую. Чтобы согреться, он послал Гришутку в буфет за коньяком. Коньяк несколько успокоил и согрел атлета, но после него, так же, как и утром, по всему телу разлилась тихая, сонная усталость.

В уборную поминутно стучали и входили какие-то люди. Тут были кавалерийские офицеры, с ногами, обтянуты-

ми, точно трико, тесными рейтузами, рослые гимназисты в смешных узеньких шапках и все почему-то в пенсне и с папиросами в зубах, щеголеватые студенты, говорившие очень громко и называвшие друг друга уменьшительными именами. Все они трогали Арбузова за руки, за грудь и за шею, восхищались видом его напруженных мускулов. Некоторые ласково, одобрительно похлопывали его по спине, точно призовую лошадь, и давали ему советы, как вести борьбу. Их голоса то звучали для Арбузова откуда-то издали, снизу, из-под земли, то вдруг надвигались на него и невыносимо болезненно били его по голове. В то же время он одевался машинальными, привычными движениями, заботливо расправляя и натягивая на своем теле тонкое трико и крепко затягивая вокруг живота широкий кожаный пояс.

Заиграла музыка, и назойливые посетители один за другим вышли из уборной. Остался только доктор Луховицын. Он взял руку Арбузова, нащупал пульс и покачал головой:

– Вам теперь бороться – чистое безумие. Пульс, как молоток, и руки совсем холодные. Поглядите в зеркало, как у вас расширены зрачки.

Арбузов взглянул в маленькое наклонное зеркало, стоявшее на столе, и увидел показавшееся ему незнакомым большое, бледное, равнодушное лицо.

– Ну все равно, доктор, – сказал он лениво и, поставив ногу на свободный стул, стал тщательно обматывать вокруг икры тонкие ремни от туфли.

Кто-то, пробегая быстро по коридору, крикнул поочередно в двери обеих уборных:

– Monsieur Ребер, monsieur Арбузов, на манеж!

Непобедимая истома вдруг охватила тело Арбузова, и ему захотелось долго и сладко, как перед сном, тянуться руками и спиной. В углу уборной были навалены большой беспорядочной кучей черкесские костюмы для пантомимы третьего отделения. Глядя на этот хлам, Арбузов подумал, что нет ничего лучше в мире, как забраться туда, улечься поуютнее и зарыться с головой в теплые, мягкие одежды.

– Надо идти, – сказал он, подымаясь со вздохом. – Доктор, вы знаете, что такое бумеранг?

– Бумеранг? – с удивлением переспросил доктор. – Это, кажется, такой особенный инструмент, которым австралийцы бьют попугаев. А впрочем, может быть, вовсе и не попугаев… Так в чем же дело?

– Просто вспомнилось… Ну пойдемте, доктор.

У занавеса в дощатом широком проходе теснились завсегдатаи цирка – артисты, служащие и конюхи; когда показался Арбузов, они зашептались и быстро очистили ему место перед занавесом. Следом за Арбузовым подходил Ребер. Избегая глядеть друг на друга, оба атлета стали рядом, и в эту минуту Арбузову с необыкновенной ясностью пришла в голову мысль о том, как дико, бесполезно, нелепо и жестоко то, что он собирается сейчас делать. Но он также знал и чувствовал, что его держит здесь и заставляет именно так по-

ступать какая-то безыменная беспощадная сила. И он стоял неподвижно, глядя на тяжелые складки занавеса с тупой и печальной покорностью.

– Готово? – спросил сверху, с музыкантской эстрады, чей-то голос.

– Готово, давай! – отозвались внизу.

Послышался тревожный стук капельмейстерской палочки, и первые такты марша понеслись по цирку веселыми, возбуждающими, медными звуками. Кто-то быстро распахнул занавес, кто-то хлопнул Арбузова по плечу и отрывисто скомандовал ему: «Allez!» Плечо о плечо, ступая с тяжелой, самоуверенной грацией, по-прежнему не глядя друг на друга, борцы пошли между двух рядов выстроившихся артистов и, дойдя до средины арены, разошлись в разные стороны.

Один из шталмейстеров также вышел на арену и, став между атлетами, начал читать по бумажке с сильным иностранным акцентом и со множеством ошибок объявление о борьбе.

– Сейчас состоится борьба, по римско-французским правилам, между знаменитыми атлетами и борцами, господином Джоном Ребером и господином Арбузовым. Правила борьбы заключаются в том, что борцы могут как угодно хватать друг друга от головы до пояса. Побежденным считается тот, кто коснется двумя лопатками земли. Царапать друг друга, хватать за ноги и за волосы и душить за шею – запрещается. Борьба эта – третья, решительная и последняя. По-

боровший своего противника получает приз в сто рублей… Перед началом состязания борцы подают друг другу руки, как бы в виде клятвенного обещания, что борьба будет вестись ими честно и по всем правилам.

Зрители слушали его в таком напряженном, внимательном молчании, что казалось, будто каждый из них удерживает дыхание. Вероятно, это был самый жгучий момент во всем вечере – момент нетерпеливого ожидания. Лица побледнели, рты полураскрылись, головы выдвинулись вперед, глаза с жадным любопытством приковались к фигурам атлетов, неподвижно стоявших на брезенте, покрывавшем песок арены.

Оба борца были в черном трико, благодаря которому их туловища и ноги казались тоньше и стройнее, чем они были на самом деле, а обнаженные руки и голые шеи – массивнее и сильнее. Ребер стоял, слегка выдвинув вперед ногу, упираясь одной рукой в бок, в небрежной и самоуверенной позе, и, закинув назад голову, обводил глазами верхние ряды. Он знал по опыту, что симпатии галереи будут на стороне его противника, как более молодого, красивого, изящного, а главное, носящего русскую фамилию борца, и этим небрежным, спокойным взглядом точно посылал вызов разглядывавшей его толпе. Он был среднего роста, широкий в плечах и еще более широкий к тазу, с короткими, толстыми и кривыми, как корни могучего дерева, ногами, длиннорукий и сгорбленный, как большая, сильная обезьяна. У него была

маленькая лысая голова с бычачьим затылком, который, начиная от макушки, ровно и плоско, без всяких изгибов, переходил в шею, так же, как и шея, расширяясь книзу, непосредственно сливалась с плечами. Этот страшный затылок невольно возбуждал в зрителях смутное и боязливое представление о жесткой, нечеловеческой силе.

Арбузов стоял в той обычной позе профессиональных атлетов, в которой они снимаются всегда на фотографиях, то есть со скрещенными на груди руками и со втянутым в грудь подбородком. Его тело было белее, чем у Ребера, а сложение почти безукоризненное: шея выступала из низкого выреза трико ровным, круглым, мощным стволом, и на ней держалась свободно и легко красивая, рыжеватая, коротко остриженная голова с низким лбом и равнодушными чертами лица. Грудные мышцы, стиснутые сложенными руками, обрисовывались под трико двумя выпуклыми шарами, круглые плечи отливали блеском розового атласа под голубым сиянием электрических фонарей.

Арбузов пристально глядел на читающего шталмейстера. Один только раз он отвел от него глаза и обернулся на зрителей. Весь цирк, сверху донизу наполненный людьми, был точно залит сплошной черной волной, на которой, громоздясь одно над другим, выделялись правильными рядами белые круглые пятна лиц. Каким-то беспощадным, роковым холодом повеяло на Арбузова от этой черной, безличной массы. Он всем существом понял, что ему уже нет возвра-

та с этого ярко освещенного заколдованного круга, что чья-то чужая, огромная воля привела его сюда и нет силы, которая могла бы заставить его вернуться назад. И от этой мысли атлет вдруг почувствовал себя беспомощным, растерянным и слабым, как заблудившийся ребенок, и в его душе тяжело шевельнулся настоящий животный страх, темный, инстинктивный ужас, который, вероятно, овладевает молодым быком, когда его по залитому кровью асфальту вводят на бойню.

Шталмейстер закончил и отошел к выходу. Музыка опять заиграла отчетливо, весело и осторожно, и в резких звуках труб слышалось теперь лукавое, скрытое и жестокое торжество. Был один страшный момент, когда Арбузову представилось, что эти вкрадчивые звуки марша, и печальное шипение углей, и жуткое молчание зрителей служит продолжением его послеобеденного бреда, в котором он видел тянущуюся перед ним длинную, монотонную проволоку. И опять в его уме кто-то произнес причудливое название австралийского инструмента.

До сих пор, однако, Арбузов надеялся на то, что в самый последний момент перед борьбой в нем, как это всегда бывало раньше, вдруг вспыхнет злоба, а вместе с нею уверенность в победе и быстрый прилив физической силы. Но теперь, когда борцы повернулись друг к другу и Арбузов в первый раз встретил острый и холодный взгляд маленьких голубых глаз американца, он понял, что исход сегодняшней борьбы уже

решен.

Атлеты пошли друг другу навстречу. Ребер приближался быстрыми, мягкими и упругими шагами, наклонив вперед свой страшный затылок и слегка сгибая ноги, похожий на хищное животное, собирающееся сделать скачок. Сойдясь на середине арены, они обменялись быстрым, сильным рукопожатием, разошлись и тотчас же одновременным прыжком повернулись друг к другу лицами. И в отрывистом прикосновении горячей, сильной, мозолистой руки Ребера Арбузов почувствовал такую же уверенность в победе, как и в его колючих глазах.

Сначала они пробовали захватить друг друга за кисти рук, за локти и за плечи, вывертываясь и уклоняясь в то же время от захватов противника. Движения их были медленны, мягки, осторожны и расчетливы, как движения двух больших кошек, начинающих играть. Упираясь виском в висок и горячо дыша друг другу в плечи, они постоянно переменяли место и обошли кругом всю арену. Пользуясь своим высоким ростом, Арбузов обхватил ладонью затылок Ребера и попытался нагнуть его, но голова американца быстро, как голова прячущейся черепахи, ушла в плечи, шея сделалась твердой, точно стальной, а широко расставленные ноги крепко уперлись в землю. В то же время Арбузов почувствовал, что Ребер изо всех сил мнет пальцами его бицепсы, стараясь причинить им боль и скорее обессилить их.

Так они ходили по арене, едва переступая ногами, не от-

рываясь друг от друга и делая медленные, точно ленивые и нерешительные движения. Вдруг Ребер, поймав обеими руками руку своего противника, с силой рванул ее на себя. Не предвидевший этого приема, Арбузов сделал вперед два шага и в ту же секунду почувствовал, что его сзади опоясали и подымают от земли сильные, сплетшиеся у него на груди руки. Инстинктивно, для того чтобы увеличить свой вес, Арбузов перегнулся верхней частью туловища вперед и, на случай нападения, широко расставил руки и ноги. Ребер сделал несколько усилий притянуть к своей груди его спину, но, видя, что ему не удастся поднять тяжелого атлета, быстрым толчком заставил его опуститься на четвереньки и сам присел рядом с ним на колени, обхватив его за шею и за спину.

Некоторое время Ребер точно раздумывал и примеривался. Потом искусным движением он просунул свою руку сзади, под мышкой у Арбузова, изогнул ее вверх, обхватил жесткой и сильной ладонью его шею и стал нагибать ее вниз, между тем как другая рука, окружив снизу живот Арбузова, старалась перевернуть его тело по оси. Арбузов сопротивлялся, напрягал шею, шире расставляя руки и ближе пригибаясь к земле. Борцы не двигались с места, точно застыв в одном положении, и со стороны можно было бы подумать, что они забавляются или отдыхают, если бы не было заметно, как постепенно наливаются кровью их лица и шеи и как их напряженные мускулы все резче выпячиваются под три-

ко. Они дышали тяжело и громко, и острый запах их пота был слышен в первых рядах партера.

И вдруг прежняя, знакомая физическая тоска разрослась у Арбузова около сердца, наполнила ему всю грудь, сжала судорожно за горло, и все тотчас же стало для него скучным, пустым и безразличным: и медные звуки музыки, и печальное пение фонарей, и цирк, и Ребер, и самая борьба. Что-то вроде давней привычки еще заставляло его сопротивляться, но он уже слышал в прерывистом, обдававшем ему затылок дыхании Ребера хриплые звуки, похожие на торжествующее звериное рычание, и уже одна его рука, оторвавшись от земли, напрасно искала в воздухе опоры. Потом и все его тело потеряло равновесие, и он, неожиданно и крепко прижатый спиной к холодному брезенту, увидел над собой красное, потное лицо Ребера с растрепанными, свалявшимися усами, с оскаленными зубами, с глазами, искаженными безумием и злобой…

Поднявшись на ноги, Арбузов, точно в тумане, видел Ребера, который на все стороны кивал головой публике. Зрители, вскочив с мест, кричали как исступленные, двигались, махали платками, но все это казалось Арбузову давно знакомым сном – сном нелепым, фантастическим и в то же время мелким и скучным по сравнению с тоской, разрывавшей его грудь. Шатаясь, он добрался до уборной. Вид сваленного в кучу хлама напомнил ему что-то неясное, о чем он недавно думал, и он опустился на него, держась обеими руками за

сердце и хватая воздух раскрытым ртом.

Внезапно, вместе с чувством тоски и потери дыхания, им овладели тошнота и слабость. Все позеленело в его глазах, потом стало темнеть и проваливаться в глубокую черную пропасть. В его мозгу резким, высоким звуком – точно там лопнула тонкая струна – кто-то явственно и раздельно крикнул: бу-ме-ранг! Потом все исчезло: и мысль, и сознание, и боль, и тоска. И это случилось так же просто и быстро, как если бы кто дунул на свечу, горевшую в темной комнате, и погасил ее…